

ВРЕМЯ и МЫ

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОБЛЕМ**

Тринадцатый год издания.

**Выходит один раз
в два месяца**

**99
1987**

**НЬЮ-ЙОРК — ИЕРУСАЛИМ — ПАРИЖ
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВРЕМЯ И МЫ» — 1987**

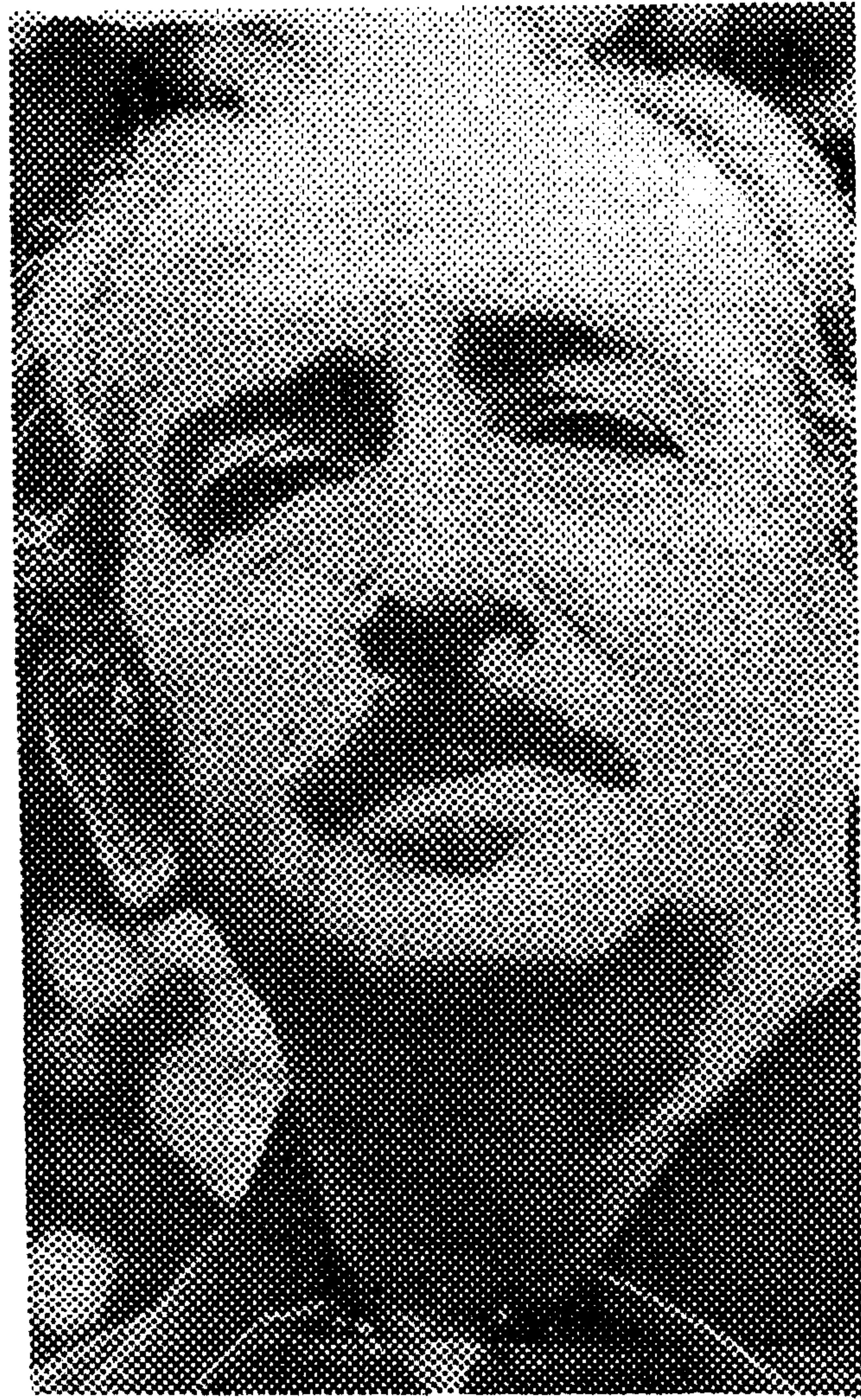
ИСТОРИЯ ЭТОГО ЭССЕ

Было это в Мюнхене, в конце мая или, может быть, в июне 1975 года. Мы возвращались с Александром Галичем с одного из студенческих митингов и на Мариен-плац обратили внимание на толпу, обступившую уличного музыканта. Приблизившись, мы услышали, как парень объявил, что исполнит сейчас песни известного русского барда Александра Вертинского. И затем на вполне приличном русском языке, действительно, спел «Чужие города», «Пани Ирэну», «Танцовщицу» и еще что-то. Мы пригласили парня в ресторан, он рассказал, что учится в одном из университетов Мюнхена, а песни Вертинского слышал с детства, от деда, бывшего русского офицера, прожившего большую часть жизни в Югославии. И вот теперь, в память деда, он каждое свое выступление заканчивает этими песнями. Галич тоже стал вспоминать о своих встречах с Вертинским и сказал, что хотел бы издать сборник его избранных песен — стихи и ноты вместе, ибо считает себя во многом обязанным Вертинскому. А поскольку я собираюсь приступить к издательской деятельности, то почему бы мне не начать именно с этого сборника. Я со своей стороны предложил включить в сборник мемуары Вертинского «Четверть века без родины», хоть и изданные в журнале «Москва», но в ужасно искореженном виде.

Вскоре Галич уехал в Париж, а я в Нью-Йорк. И вот, совершенно неожиданно, в конце ноября 1977 года получаю от Галича, из Парижа, пакет, в котором и находилась рукопись, предлагаемая мною читателю. Я даже не успел ответить Галичу: очень скоро из Парижа пришла трагическая весть о его гибели. И вот теперь, десять лет спустя, эссе Галича об Александре Вертинском возвращается читателям.

Григорий ПОЛЯК

Александр ГАЛИЧ



ПРОЩАЛЬНЫЙ УЖИН

Началось все неожиданным утренним звонком тридцать уже с лишком лет тому назад.* Мне позвонил мой приятель и каким-то странным, слегка насмешливым голосом сказал: «Слушай, у меня есть свободный билет. Ты не хотел бы пойти сегодня вечером в Дом кино, на концерт Александра Вертинского?» Я тоже чуть-чуть хмыкнул, сказал — на чей концерт? Он ответил: «На Вертинского. Ты же знаешь, он приехал, он в Москве». Я действительно слышал, что Вертинский приехал в Москву, и мне даже говорили, что где-то в очень узком кругу, для актеров Художественного театра, он пел, но что он будет выступать публично и то, что я смогу его услышать, казалось мне совершенно невероятным. И вот я пошел на концерт Вертинского. Он должен был выступать в Доме кино, в старом Доме кино, который помещался у площади Восстания, там, где теперь Театр киноактера.

* Написано в 1977 году. © издательства «Серебряный век».

Сама обстановка в фойе и в зале была довольно странная. Люди ходили немножко с недоверчивыми улыбками, переглядывались, говорили: «Ну-ну, неужели же это правда?»

Я хотел бы, чтобы это представили те из вас, которые родились в годы войны или после войны и которые не знают, почему так мы странно отнеслись к сообщению о том, что приехал Вергинский.

Долгие годы Александр Вергинский был не то чтобы под запретом, а был человеком из какой-то другой, фантастической жизни. Он эмигрировал в двадцатые годы, и иногда до нас случайно доходили какие-то его пластинки, стертыепрестертые.

Мы слушали их, едва разбирая слова... И то, что вот он, легендарный Вергинский, о котором нам рассказывали наши матери, — то, что он сегодня, сейчас выступит и мы его увидим, казалось нам совершенно невероятным. Уже здесь, в кулуарах, рассказывали такую шутку-анекдот, полуанекдот, может быть, это и было правдой, что граф Алексей Николаевич Толстой, пролетарский писатель, устроил в честь приезда Александра Николаевича Вергинского прием. Гостей почему-то долго томили в гостиной, не звали к столу, что-то не было готово у хозяек, и тут один из гостей, поглядевший на собравшееся общество: граф Алексей Николаевич Толстой, граф Игнатьев, митрополит Николай Крутицкий, Александр Николаевич Вергинский, — спросил: «Кого еще ждем?» — грубый голос остроумца Смирнова-Сокольского ответил: «Государя!»

И вот, мы пришли в зал. Сцена была пуста, открыт занавес, стоял рояль, а потом на сцену, без всякого предупреждения вышел высокий человек в сизом фраке, с каким-то чрезвычайно невыразительным, стертым лицом, с лицом, на котором как бы не было вовсё глаз, с такими белесово-седыми волосами; за ним просеменил маленький аккомпаниатор, сел к роялю. Человек вышел вперед, и без всякого объявления, внятно, хотя и не громко, сказал «В степи

молдаванской». Пианист сыграл вступление, и этот человек со стертым, невыразительным лицом произнес первые строчки:

**Тихо тянутся сонные дороги
И вздыхая бредут под откос...**

И мы увидели великого мастера с удивительно прекрасным лицом, сияющими лукавыми глазами, с такой выразительной пластикой рук и движений, которая дается годами большой работы и которая дарится людям большим их талантом. Можно по-разному оценивать творчество Александра Николаевича Вертиńskiego, но то, что он оставил заметный след в жизни не одного, а нескольких поколений русских людей и в Советском Союзе, и за рубежом, — это вне всякого сомнения. Песни его, казалось бы, никак не соприкасающиеся с жизнью, такие, как «Я знаю Джим», «Лиловый негр вам подает манто», «Прощальный ужин», — казалось бы, что они там, в Советском Союзе? Что значили для нас эти песни, какое отношение имели к нашей жизни? Я помню стихи Смелякова: «Гражданин Вертинский вертится спокойно, девочки танцуют английский фокстрот; я не понимаю, что это такое, как это такое за душу берет...».

Но он врал, Ярослав Смеляков. Он-то понимал, почему это брало за душу, почему в этой лирической, салонной пронзительности было для нас такое новое ощущение свободы.

Потом, после этого концерта, года два или три спустя, мне довелось познакомиться с Александром Николаевичем Вертиńskим. Мы даже жили с ним рядом в соседних номерах, в гостинице «Европейская», в Ленинграде месяца полтора. Я работал тогда на киностудии «Ленфильм», делал сценарий, а у Вертиńskiego были концерты. Он выступал в саду «Аквариум». И вот, по вечерам, после концерта, он входил со своим стаканом чая. Он неизменно носил свой стакан чая с лимоном, садился и говорил мне: «Ну, давайте. Читайте стихи». Я читал ему Мандельштама, Пастер-

нака, Заболоцкого, Сельвинского, Ахматову, Хармса. Читал совсем ему уже не известных даже по именам Бориса Корнилова и Павла Васильева, читал все то, что он, долгие годы оторванный от России, не мог знать. Он был не только исполнителем, не только замечательным мастером, он был поразительным слушателем. Сам — актер, певец, поэт, он умел слушать, особенно умел слушать стихи. И вкус у него на стихи был безошибочный. Он мог сфальшивить сам, мог иногда поставить неудачную строчку, мог даже неудачно (если ему было удобней) изменить строчку поэта, на стихи которого писал песню, — но чувствовал он стихи безошибочно. И когда я прочел ему в первый раз стихотворение Мандельштама «Я вернулся в мой город, знакомый до слез», он заплакал, а потом сказал мне: «Запишите мне, пожалуйста. Запишите мне».

У меня с ним был еще один забавный вечер. Мы решили не сидеть в номере, а пойти поужинать в «Европейскую». Летом ресторан работает на крыше, и туда ходят с удовольствием ленинградцы. Я не знаю, как сейчас, но в мое время, — я уже говорю, в мое время, как говорят старики, — так вот, в мое время это было довольно любимым местом ленинградцев. И вот мы пошли с Александром Николевичем поужинать. Мы сидели вдвоем за столиком, и вдруг к нам подбежала какая-то необыкновенно восторженная, сильно в годах уже дама, сказала: «Боже мой, Александр Николаевич Вергинский!» Он встал, я, естественно, встал следом за ним (он был человеком чрезвычайно воспитанным и галантным) и сказал: «Ради Бога, прошу вас, садитесь к нам», она сказала: «Нет, нет, там у нас большая компания, просто я увидела вас. Я была, конечно, на вашем концерте, но я не рискнула зайти к вам за кулисы, а здесь я воспользовалась таким радостным случаем и просто хотела сказать вам, как мы счастливы, что вы вернулись на родину».

Александр Николаевич повторил: «Прошу вас, посидите с нами, хотя бы несколько минут». Она сказала: «Нет, нет, я очень тороплюсь. Я просто хочу, чтоб вы знали, каким

счастьем было для нас, когда мы получали пластинки с вашими песнями, с вашими или песнями Лещенко...» Вдруг я увидел, как лицо Александра Николаевича окаменело. Он сказал: «Простите, я не понял вторую фамилию, которую вы только что назвали». Дама повторила: «Лещенко».

«Простите, но я не знаю такого. Среди моих друзей в эмиграции были Бунин, Шаляпин, Рахманинов, Дягилев, Стравинский. У меня не было такого ни знакомого, ни друга по фамилии Лещенко».

Дама отошла. Александр Николаевич был человеком с юмором, но иногда он его терял, когда его творчество воспринималось, как творчество ресторанное — под водочку, под селедочку, под растегайчик, под пьяные слезы и тоску по родине. Он считал, что делает дело куда как более важное, и думаю, что он был прав.

* * *

Памяти Александра Николаевича Вертиńskiego

**И вновь эти вечные трое
Играют в преступную страсть,
И вновь эти греки из Трои
Стремятся Елену укraсть,**

**А сердце сжимается больно,
Виски малярийно мокры,
От этой игры треугольной,
Безвыигрышной этой игры.**

**Развей мою смуту жалейкой,
Где скрыты лады под корой,
И спой, как под старой шинелькой
Лежал сероглазый король.**

**В беспамятстве дедовских кресел
Глаза я закрою, и вот
Из рыжей Бразилии крейсер
В кисейную гавань плывет.**

**А гавань созвездие множит,
А тучи, а тучи грядой,
Но век не вмешаться не может,
А норов у века крутой.**

Он судьбы смешает, как фанты,
Ему ералаш по душе
И вот он враля-лейтенанта
Назначил морским атташе.

На карте истории Некто
Возникнет подобный мазку,
И правду лилового негра
За займом приедет в Москву.

И все ему даст непременно
Тот Некто, который никто
Ни тихая пани Ирэна
Наденет на негра пальто.

И так этот мир разутюжен,
Что черта ли нам на рожон,
Нам нужен прощальный не ужин,
А сто пятьдесят под «Боржом».

А трое, ну, что же, что трое
Им равное право дано,
А Троя разрушена. Троя,
И это известно давно.

Все предано праху и тлену,
Ни дат не осталось, ни вех,
А нашу Елену, Елену
Не греки украли, а век.